

Глава 1

В Горохове родился, да не пригодился

Окончание. Начало № 4, 2019

Разрушительные для психики ребенка флюиды, витающие в страховской усадьбе, создавали тяжелую атмосферу; Николаше Лескову пришлось наблюдать дикие сцены, и не однажды он на своей шкуре испытал жестокий нрав владельца усадьбы: «Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы». Имелась ли в усадьбе Страхова башня, на вершине которой «в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, так называемая «Эолова арфа»? Скорее всего, имелась, иначе как бы писатель смог спустя годы столь подробно описать

жуткую «музыку»: «Когда ветер пробежал по струнам этого своеговольного инструмента, струны издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм пораженных страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов. В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери»¹.

Вот какими были *«первые мои детские впечатления, и впечатления ужасные, — признавался Лесков. — Я думаю, что они еще начали развивать во мне ту мучительную нервность, от которой я страдал всю мою жизнь и наделал в ней много неправдываемых глупостей и грубостей»* (выделено мною — Н. Л.). В этих словах — ключ к пониманию многих поступков в дальнейшей жизни Лескова, и к этому его сокровенному признанию мы еще вернемся не раз.

¹ В рассказе угрюмый, своенравный и жестокий дядя под конец из «зверя» преображается в доброго дядюшку, навроде Скруджа в «Рождественских повестях» Диккенса. В реальности ничего подобного не было. Лесков предпочел изменить правде, чтобы дать возможность хотя бы в художественном произведении добру восторжествовать над злом.

У Страховых имелось семеро отпрысков — четыре дочери и трое сыновей. Двое мальчиков были чуть старше Лескова, третий — его ровесник. Для их обучения и воспитания Страховы наняли русского и немецкого учителей и француженку. Родители Лескова такой возможности не имели, но очень хотели, чтобы их сын не вырос неучем, да и сам он сильно тянулся к знаниям. Поэтому с пяти лет Николаша поселился в Горохове, а мать с отцом приезжали его проведать, или он сам время от времени гостил в орловском доме. Это «послужило мне в пользу, — признавал Лесков. — Я был хорошо выдержан, то есть умел себя вести в обществе прилично, не дичился людей и имел пристойные манеры — вежливо отвечал, пристойно кланялся и рано болтал по-французски. Но зато рядом с этими благоприятностями для моего воспитания в душу мою вкрались и некоторые неблагоприятности: я рано почувствовал уколы самолюбия и гордости, в которых у меня выразилось большое сходство с отцом. Я был одарен, несомненно, большими способностями, чем мои двоюродные братья, и что тем доставалось в науках с трудностями, то мне шло нипочем. Немецкий учитель Кольберг имел неосторожность поставить это однажды на вид тетке, и я стал замечать, что мои успехи были ей неприятны. Это во мне зародило подозрение, что я тут не на своем месте, и вскоре пустое обстоятельство это решило так, что меня должны были отсюда взять». Насчет «подозрений» Лесков выразился чересчур деликатно. Бойкость и успехи племянника в науках на самом деле сильно раздражали тетку, она то и дело позволяла себе обидные и унижительные замечания, как сейчас бы сказали — подколки. Сама перманентно унижаемая и бесправная под властью мужа-деспота, не вымещала ли Страхова скопившиеся негативные эмоции на еще более беззащитном племяннике? Бабушка вступить за внука не решалась. Александра Васильевна (от Акилины-то никуда не денешься!) в дворянском окружении чувствовала себя не ахти как. «В чванливых разветвлениях страховской породы» многие, общаясь с нею, снисходительно улыбались, а то и морщились, когда она запинаясь на слове «бухгалтер», говорила «ехтот», «лыгенда» или «мараль», понимая второе слово как «переделку в народном духе», а последнее — как оскорбление.

«Зато она не позволила никаким модным давлениям поколебать в себе веру в народный смысл и сама не расставалась с этим смыслом, — пылко защищал «бабушку Сашеньку» внук-писатель. — Была хорошая женщина и настоящая русская барыня; превосходно вела дом и умела принять всякого, начиная с императора Александра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать ничего не читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в беседах, и для того «требовала людей к разговору». В этом роде собеседниками ее были бурмистр Михаил Лебедев, буфетчик Василий, старший повар Клим или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе, — разбирались, отчего на девку Феклушку мараль пущена или зачем мальчик Гришка мачехой недоволен. Вслед за таким разговором шли свои меры, как помочь Феклуше покрыть косу и что сделать, чтобы мальчик Гришка не был мачехой недоволен. Для нее все это было полно живого интереса (...). В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой ее пользовались соборный отец Пётр, купец Андросов и Голован, которых для нее и "призывали к разговору"». С простыми людьми Александра Васильевна общалась просто и живо, а в гороховском «дворянском круге» нашла утешительную отдушину — длительные поездки на богомолье, куда брала с собой и внучка Николушку, чтобы «дать ему раздышаться на приволье». Приверженность «бабушки Сашеньки», как называли ее внуки, к посещению «маластырьков» была исконно купеческая. Из Горохова и из Орла частенько отправлялся Николаша вместе с нею в «волшебные путешествия»: «Я был адъютантом старушки с самого раннего возраста. Еще шести лет я с ней отправился в первый раз в Л-скую пустынь на рыжих ее кобылках и с тех пор сопровождал ее каждый раз, пока меня десяти лет отвезли в губернскую гимназию. Поездка по монастырям имела для меня очень много привлекательного...» А. Н. Лесков предположил, что отец под сокращением «Л-ская» имел в виду «Ливенскую пустынь». Пустыни такой тогда не существовало, но под Ливнами располагался Свято-Успено-Сергиевский Ливенский монастырь, основанный выходцами из разоренной Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры на склоне реки Сосны, если судить по письменным

источникам, в 1592 году. Монастырь служил не только духовным, но и оборонительным целям: Ливны — южная окраина Русского государства, здесь раньше других узнавали о приближающихся набегах татар. Согласно преданию, первым наместником обители в 1615 году стал игумен Харалампий, «поп белый», под его началом находилось 11 человек братии. Пещерка и источник на склоне горки до сих пор называются Харалампиевскими, а через игумена Харалампия является Божья помощь просящим ее у ливенских угодников. Другое название пещерки — Ливенская. В ней погребены не только мощи игумена Харалампия, по традиции в этой усыпальнице древней обители хоронили всех наместников бывшего монастыря без видимых признаков могил: ни гробов, ни каменных плит — тела усопших сокрыты тайнообразно. В 1764 году Ливенская обитель прекратила свое существование по сокращению штатов монастырей, иноков перевели в Оптину пустынь. Монастырскую землю и крестьян передали графу РаSTOPчину. В 1772 году даже стены монастыря срыли и на их месте стали возводить дома. И даже самую пещеру и монастырское кладбище отдали под обычные постройки! Чтобы люди опомнились, не уничтожали святого места, Господь явил чудесное знамение: рабочие, рывшие фундамент, как свидетельствует летопись, обнаружили неповрежденный гроб с нетленным телом «в золотой шапке», то есть в митре. Это были мощи погребенного здесь архимандрита. Застройщик (кстати, местный протоиерей), хоть и был поражен, рассказывал о произошедшем событии родным и знакомым, но не дал официальную огласку происшедшему, а велел поставить гроб на прежнее место и продолжил жить-поживать в новом доме, обратив усыпальницу в погреб. Через 80 лет дом перешел во владение ливенскому купцу-прасолу Тюпину, который складывал в погребе скупленные кожи. На квартире у Тюпина стоял Силединского полка офицер ГрОбовский, поляк, ревностный католик. Однажды вечером явился ему старец-инок и сказал: «Вынесите из погреба кожи, потому что здесь нахожусь я, Харалампий, да и многие другие иноки со мной», — и скрылся. ГрОбовский позвал денщика, велел вернуть монаха, но денщик стал уверять, что никакого монаха не видал. Молва о чудесном видении разнеслась

вокруг: «И страх бе в окрест живущих». Так началось поклонение святому месту — «погребку», как его тогда звали. Тысячи людей шли из самых далеких мест, даже из Сибири. Больные исцелялись, здоровые удостаивались пророческих видений почивших здесь угодников Божиих, чаще всего игумена Харалампия. Александра Васильевна Алферьева с внуком Николашей тоже стремились сюда за духовной поддержкой и окормлением. Их поездки на богомолье отличались, по выражению Лескова, «необыкновенной опозитизированностью», которую умела придать им «старушка»: «Едем, бывало, рысцой; кругом так хорошо: воздух ароматный; галки прячутся в зеленях; люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу, бывало, идем пешком; бабушка мне рассказывает о двенадцатом годе, о можайских дворянах, о своем побеге из Москвы, о том, как гордо подходили французы, и о том, как потом безжалостно морозили и били французов». Так, под «басни летописны», они, не успев оглянуться, прибывали на постоянный двор, а там — «знакомые дворники, бабы с толстыми брюхами и с фартуками, подвязанными выше груди, просторные выгоны, по которым можно бегать, — все это пленяло меня и имело для меня обязательную прелесть. Бабушка примется в горенке за свой туалет, а я отправляюсь под прохладный, тенистый навес к Илье Васильевичу, ложусь возле него на вязке сена и слушаю рассказ о том, как Илья возил в Орле императора Александра Павловича; узнаю, какое это было опасное дело, как много было экипажей и каким опасностям подвергался экипаж императора, когда при съезде с горы к Орлику у хлоповского кучера лопнули вожжи, и как тут один он, Илья Васильич, своею находчивостью спас жизнь императора, собиравшегося уже выпрыгнуть из коляски». Следующий пассаж обязательно вызовет улыбку у современных читательниц, когда они узнают возраст «доброй старушки» Александры Васильевны: «Богомольная старушка наша, однако, никогда не была ханжой и не корчила из себя монахини. Несмотря на свои пятьдесят лет, она всегда была одета чисто, как колпик. Свеженькое дикое или зеленое ситцевое платьице, высокий тюлевый чепчик с дикими же лентами и редикуль с вышитой собачкой — все было свежо и наивно-кокетливо у доброй старушки. Ездил она в пустыни в деревенской

безрессорной кибитке на паре старых рыжих кобылок очень хорошей породы. Одну из них (мать) звали Щеголихой, а другую (дочь) — Нежданкою. Последняя получила свое название оттого, что явилась на свет совершенно неожиданно. Обе эти лошадки у бабушки были необыкновенно смирны, резвы и добронравны, и путешествие на них, с елейной старушкой и с ее добродушнейшим старичком кучером Ильею Васильевичем, составляло для меня во все годы моего детства наивысочайшее наслаждение».

Наведывались бабушка с внуком и в другие окрестные обители: Успенский мужской монастырь, ценский Петропавловский монастырь, старинный Введенский (Христорожественский) женский монастырь, основанный в 1685 году, расположенный на левом берегу Орлика, на месте древнего Афанасьевского погоста. В 1843-м монастырь сгорел. После пожара обитель перенесли на юго-восточную окраину города, в конец Курских улиц к приходской Христорожественской церкви, а через десять лет обнесли кирпичной оградой с четырьмя башнями. Судя по описанию, данному в романе «Некуда», это была одна из редких обителей, где Лескову не понравилось: «Между тем тарантас, прыгая по каменным волнам губернской мостовой, проехал Московскую улицу, Курскую, Кромскую площадь, затем Стрелецкую слободу, снова покатился по мягкому выгону и через полверсты от Курской заставы остановился у стен девичьего монастыря. Монастырь стоял за городом на совершенно ровном, как ска-терть, зеленом выгоне. Он был обнесен со всех сторон красною кирпичною стеною, на которой по углам были выстроены четыре такие же красные кирпичные башенки. Кругом никакого жилища. Только в одной стороне две ветряные мельницы лениво махали своими безобразными крыльями. Ничего живописного не было в положении этого подгородного монастыря: как-то потерянно смотрел он своими красными башенками, на которые не было сделано даже и входов. Ничего-таки, ровно ничего в нем не было располагающего ни к мечте, ни к самоуглублению. Это не то, что пустынная обитель, где есть ряд келий, темный проход, часовня у святых ворот с чудотворною иконою и возле ключ воды студеной, — это было скучное, сухое место».

И все-таки — лучше в любом монастыре, да с милой бабушкой Сашенькой, да с прекрасным рассказчиком Ильёй, чем в страховской усадьбе! Житье в монастырях бывало легким, безгрешным: мальчик купался в речке, ходил с пожилыми монахами удить рыбу и собирать ягоды, чистил с послушниками на монастырской кухне грибы и слушал, слушал — о чем говорят, как говорят...

Умение слушать и слышать — это был его первый дар.

Однако рано или поздно им приходилось возвращаться в страховский дом — к насмешкам, тайным слезам, незаслуженным обидам.

Искать защиты у дедушки Николаша тоже не мог. Супруга Александры Васильевны, Петра Сергеевича, если и можно было назвать добрым, то лишь «по-своему»: «в духе времени», по характеристике его правнука Андрея, неожиданно сверх меры увлекся борьбой со «тьмой египетской» — заклинателями, наговорщиками, всякими «пережинами», «заломами» и прочими видами мракобесия², коих, судя по лесковским сочинениям, в Горохове хватало. Позднее Николай Лесков, как *vivendi — mortuum* деду, *from the living — dead*, предпослал к «Загону» фразу из сочинения Дж. Марлея «О компромиссе»³: «*Disciplina argani* [Учение о тайне (лат.)] существует в полной силе: цель ее — предоставить ближним удобство мирно копать в свинных корытах суеверий, предрассудков и низменных идеалов». Пётр Сергеевич, по общему мнению, «был человеком ясного ума, прекрасных способностей, большого жизненного опыта, изрядной образованности, ненавидевший невежество и суеверие в народе и еще больше — в дворянско-помещичьей среде»,

² Н.С. Лесков. «Случай из русской демономании». «Новое время», 1880, №№ 1529, 1533, 1536, 1542, 1552 гг., или под заголовком «Русские демономаны» в сборнике «Русская рознь» (СПб. 1881 г.)

³ Джон Морлей (1838-1923 гг.) — английский ученый-литературовед, историк и политический деятель прогрессивного направления. В «*On compromise*» он порицает царивший в то время в Англии дух компромисса, выступает против церкви, англиканской в частности, и требует, чтобы свобода мнений стала народной традицией.

и поэтому стремился, хоть и силой, отогнать ближних подальше от «свиных корыт суеверий». Жаль, осталось неразъясненным, в чем именно выражались его действия, однако совершенно ясно, что они занимали все внимание и свободное время Петра Сергеевича — до Николкиных ли тут детских обид?

Наконец Наталья Петровна отмучилась: грозный муж ее тяжело захворал, она повезла его в Москву. Столичные светила спасти больного не смогли — Страхов умер. Похоронив его на Ваганьковском кладбище, Наталья Петровна вдовой возвратилась в Горохово, где, наконец, почувствовала себя полновластной хозяйкой и принялась с чрезмерной активностью «входить в хозяйство и в воспитание детей». Понимала свою роль хозяйки и воспитательницы она своеобразно и тягостно для окружающих. И роль эта довольно скоро ей наскучила.

На экспозиции музея Н. С. Лескова в Орле, посвященной детству и юности Лескова, размещен портрет Натальи Петровны Страховой, во втором замужестве Константиновой. Сайт дома-музея даёт ей такую характеристику: «Красивое, доброе лицо. Тонкий прямой нос, выразительный взгляд светлых глаз. Скромное домашнее платье с кружевным воротничком, черная кружевная накладка в волосах. И в то же время за мягкостью черт таится сильный и глубокий характер, позволивший этой изысканной даме, не последней по своему положению в светском обществе губернского Орла, выстоять в единоборстве с выпавшими на ее долю жизненными драмами. Ведь это именно ее изобразил племянник-писатель в образе боярыни Марфы Андреевны Плодомасовой, героини исторической хроники «Старые годы в селе Плодомасове» и «Соборян». С последним утверждением я согласиться не могу: судя по всему, в молодости Наталья Петровна ничем не походила на «олицетворение истины, нравственности и чести», каковой являлась гордая и властная хранительница древних дворянских традиций Марфа Андреевна. Муж ее погиб на поле брани с французами, в весьма раннем возрасте Плодомасова взвалила на свои плечи заботы об огромном хозяйстве, поставила на ноги двоих детей и внушила уважение к себе не только местному окружению, но и высоким кругам Москвы и Петербурга. Пресекая всякие домыслы о прототипе Плодомасовой, Лесков

называл совсем другого человека — в образе ее он-де отразил многие черты характера помещицы, о которой писал в статье «Пресыщение знатностью» («Новое время», № 4272, 20 января 1888 г.): «В Кромском уезде Орловской губернии, в селе Зиновьеве, жила помещица Настасья Сергеевна, рожденная кн. Масальская. Она в юности получила блестящее образование в Париже и пользовалась общим уважением за свой ум и благородный, независимый характер. Состояние у нее было среднее (500 душ), но хорошо поставленный дом ее был открыт для званых и незваных. Ее очень почитали и ездили к ней издалека, не ради пышности и угощений, а «на поклон» — из уважения. В зиновьевском доме было хлебосольно, но просто, приветно и часто очень весело. Кроме того, зиновьевский дом был также в некотором роде источником света для округа. Большинство соседей брали здесь книги из библиотеки, унаследованной хозяйкой от Масальского, и это поддерживало в окружном обществе изрядную начитанность. Когда меня мальчиком возили в Зиновьево, Настасья Сергеевна была уже старушка, но я отлично ее помню и с нее намечал некоторые черты в изображениях «боярыни Плодомасовой» (в «Соборьянах») и «княгини Протазановой» (в «Захудалом роде»). О ней говорили, что "она всем дает тон"».

А у Натальи Петровны Страховой черты, придающие ей сходство с плодомасовской барыней, проступили лишь в зрелом возрасте, за надежной спиной второго мужа: «Характера она была твердого. Ее побаивались, но чтили. Была пряма и небезучастна (...), что называется, настоящая губернская *grande dame*», — отзывался о ней спустя полвека внучатый племянник Андрей, знававший ее как раз уже только в этой ипостаси.

Кто же был человек, столь благотворно повлиявший на жизнь тетушки Лескова? После четырехлетнего вдовства Наталья Петровна «по влечению сердца» вышла замуж за своего ровесника, гусара Елисаветградского полка, впоследствии земского деятеля Луциана (Лукиллиана) Ильича Константинова. По свидетельствам современников, Константинов был красив, добр, воспитан и благороден. «Мало о ком в нашем родстве отец мой говорил так тепло», — подчеркивал Андрей Николаевич, об этом же свидетельствовали многочисленные упоминания

самим Н. С. Лесковым Луциана Ильича в статьях и очерках. Этот-то незаурядный человек оказал значительное влияние на будущего писателя: Константинов «по прежнему своему гусарству» обладал оригинальным жизненным опытом, помнил много реально происходивших случаев, по которым Лесков познавал старый военный быт, традиции, «историю и географию человеческих отношений» еще и с этой, ранее совершенно неизвестной и недоступной ему стороны. Не общайся Лесков со вторым мужем тетушки Натальи, мы бы никогда не узнали, к каким ужасным последствиям приводили порой гусарских офицеров пьянство, безделье и безбашенность:

«В Пирятине (примем за данное, что это было там) стояли драгуны. Части полка были расположены и в других местностях. Полковой командир квартировал, может быть, в Переяславе. Разумеется, на стоянке в крошечном городке офицеры скучали от безделья и развлекались, разъезжая в гости к помещикам. Когда же выдавалось несколько дней домоседства, они кутили, играли в карты и пили в погребке при лавке какого-то местного торговца виноградными винами. Торговец был еврей, любил обирать офицеров и разгулу их потворствовал, но сам их боялся и — для того ли, чтобы они хоть мало-мальски вели себя тише при возбуждении, — он повесил в том помещении, где пировали его гости, портрет лица, которое, по его понятиям, могло напоминать посетителям его заведения об уважении к законам благочиния».

Из всего этого вышла нехорошая история: как-то вечером офицеры вспомнили лето, жару и заезжего циркача-жонглера. На представлении он сажал свою дочь на стул, плотно придвинув его спинкой к стене, и, «достав из мешка несколько кинжалов, метал их в стену так, что они втыкались, обрамливая голову девушки со всех сторон, но нигде ее не задевая (...) Такое твердое и ловкое упражнение оружием весьма заняло людей, знакомых с трудностью этих смелых эволюций кинжалами, и вот офицеры, собравшись однажды там, где было им за обычай пить и закусывать кусочками сыра, наструганного наподобие выветрелых остриженных ногтей, стали говорить о метаниях кинжала, и когда сделались уже пьяны, то одному из них

пришло в голову, что и он может проделать то же самое. Кинжалов при них не было, но на столе находились вилки, которые до известной степени при этом опыте могли заменить кинжалы. Если их и не так легко было бросать с прицелом, то все же таки они втыкались в стену. Остановка была за человеческим лицом, около которого можно бы натывать вилок. Из офицеров, разумеется, ни один не пожелал сам подвергнуть себя этакому опыту. Надо было найти личность низшего разряда, конечно, самое лучшее жиды, — и разгулявшиеся офицеры отнеслись с предложением такого рода к прислуживавшим евреям, но те, по трусости и жизнелюбию, не только не согласились сидеть на таком сеансе, но даже покинули свои посты при торговле и предоставили всю лавку во власть господ офицеров, а сами разбежались и скрылись, хотя, конечно, не переставали наблюдать из скрытых мест за тем, кто что будет брать, и вообще что станет далее делать шумливая компания. На этот грех случай поднес сюда двух молодых приказных, по местному выражению — «судовых панычей», которые в этот день, вероятно, стянули с кого-нибудь «доброе хабара» (то есть хорошую взятку) и пришли угостить себя в погребеке холодным донским вином полынного привкуса. Офицерам тотчас же пришла мысль приурочить этих панычей для своего опыта — для чего тем сначала было предложено вместе выпить, а потом к ним стали приставать, чтобы который-нибудь из них посидел на сеансе. Панычи оказались очень странными людьми, совершенно разного нрава — один как Гераклит, а другой как Демокрит. Придя с жару в холодный погребок, они как выпили холодного вина, так их и развезло, и потому, когда офицеры стали к ним приставать, они, вместо того чтобы скорее уйти, не трогались с места. Считая себя на равной ноге, как аборигены, они начали проявлять свой характер. Один на делаемые ему предложения смеялся и отпускал раздражавшие офицеров малороссийские шуточки, а другой раскис и стал плакать. И хотя его уже никто не трогал, но он все продолжал кричать: «Не чепайте меня! Идите соби до биса! Дайте мени святого покою!» Оба эти панычи так надоели офицерам, что те, наконец, поступили с ними по-свойски, — то есть похлопали их и подбили под стол и решили держать там, «как поросят»,

до тех пор, пока окончится пирушка. Это было и удобно и безопасно, ибо под столом панычей офицеры удерживали ногами, имея и рты и руки свободными, а между тем через обеспечение личности панычей устранялся скандал, который казался неизбежным при мерзком характере, какой обнаруживали эти неуступчивые молодцы. Один из них непременно бы стал на площади или на улице визжать на весь город, а другой, чего доброго, мог бы взлезть на забор или подойти к окну и тут же через окно дразниться. Тогда пришлось бы за ним бегать, его доставать и ловить — все это было бы скандально и непременно бы собрало бы кучу баб и жиденят. Словом, вышло бы совсем неприлично офицерскому званию, — между тем как панычи, подбитые под стол, сидели там смиренно и только жались, обнявшись друг с другом, на тесном пространстве, где их теснили офицерские ноги в сапогах со шпорами».

Рассказчик считает, что до этого момента офицеры еще вели себя «по-божески», но потом в дело «замешался черт»: «Офицеры до того запьянели, что стали метать вилки в портрет, рассчитывая, что могут окружить его так же ловко, как жонглер окружал кинжалами голову живого человека. Но черт тут и был: как только первый офицер метнул вилку, бес толкнул его под локоть — и вилка попала в самый глаз портрета. Метнул другой офицер, а черт опять навел вилку по тому же направлению в другой глаз, и тогда в опьяневшей компании развилось соревнование — вилки полетели одна за другую и совсем изуродовали лицо портрета. В пьяном загуле, перешедшем уже в состояние умственного омрачения, офицеры не придали этому событию никакого особенного значения. Попортили картину — больше ничего. Не Бог весть какого она мастера — не Рафаэлево произведение и огромных сумм стоить не может. Призовут завтра жида-хозяина, спросят его, сколько картина стоила, хорошенько с ним поторгуются и заплатят — и на том квит всему делу. Зато как было весело, сколько шутили и смеялись при всякой неудаче бросить вилку так метко, как бросал жонглер.

— Нет, он, шельма, лучше делал. Нам так не сделать. И слава Богу, что никто живой не согласился перед нами сидеть, а то бы мы живому глаза повыкололи — тогда и не разделаться.

Очень рады были добрые удальцы, что так хорошо дело кончилось одними смешками да шутками, и, поддерживая друг друга, разбрелись по квартирам. Уходя, они совсем даже позабыли про судебных панычей, которые притихли под столом и не подавали о себе ни слуху ни духу.

А дело было совсем не так просто и совсем не благополучно, как думали разошедшиеся на отдых добрые ребята»⁴.

Какие последствия имела дикая забава «добрых ребят» — приглашаю узнать в оригинале, а мы, дабы не удалиться от нашего повествования слишком далеко в сторону, возвратимся к Наталье Петровне и Луциану Ильичу.

После свадьбы Константиновы поселились в Денисове Ливенского уезда Орловской губернии — имении, полученном Натальей Петровной из страховского наследства. Сюда же она перевезла и свою мать Александру Васильевну, к тому времени вдову, потому как Пётр Сергеевич около 1840 года скончался от холеры в Горохове, лет на пять позже «благодетеля» Страхова, и лежал на приходском кладбище села Добрыни. Вместе с матерью переехала в Денисово и младшая сестра Натальи Петровны — Ольга, девушка на выданье. Что к Александре Васильевне, что к Ольге Константиновы относились с полным уважением, им «ни в чем отказу не было, и никакой обиды или невнимания не творилось». Оказывали они также ощутимую поддержку малоимущей Марье Петровне: снабжали денежными средствами, помогали протекцией ее детям, хотя у самих Константиновых родилось их за время счастливого супружества целых восемь душ — всего, вместе с семьёй отпрысками Страхова, пятнадцать человек — шутка ли!

Однако в 1835-м до статуса и самоощущения гранд-дамы Наталье Петровне было далеко: оставшись в одиночестве после смерти первого супруга, она выказала себя совершенно не умеющей жить без мужской опоры. Так что скоро в усадьбе появился на правах ее опекуна сосед-помещик Н. Е. Афросимов, «невероятный

⁴ «Старинные психопаты». //Собр. соч. в 11-ти тт. Т. 7. - М.: Государственное изд-во художественной литературы, 1958.

силач и невероятный циник, которого за это последнее терпеть не мог мой отец, — писал Лесков. — Афросимов это знал и платил ему тем же. Отец мой в его глазах был «неуклюжий семинарист». О силе Афросимова у нас ходил такой анекдот, будто в двенадцатом году на небольшой отряд, с которым он был послан на какую-то рекогносцировку, наскочили два французских офицера. Афросимов не приказал солдатам защищаться, а когда французы подскочили к нему с поднятыми саблями, он одним ловким ударом выбил у них эти сабли, а потом схватил их за шиворотки, поднял с седел, стукнул лоб о лоб и бросил на землю с разбитыми черепами. Не знаю, сколько в этом рассказе правды, но ему все верили,⁵ и Н. Е. пользовался большим уважением в дворянстве, предводитель которого и вверил ему страховскую опеку. Во мне он невзлюбил «семинарское отродье» и на первых же порах нанес мне тяжкую обиду, которая теперь мне смешна, но тогда казалась непереносимой. Дело в том, что по докладу неосторожного, но честного Кольберга меня за благонравие и успехи хотели «поощрить». Для этого раз вечером собрали в гостиную всех детей. Это было в какой-то праздник, и в доме случилось много гостей с детьми почти равного возраста. Н. Е. держал ко всем нам речь, в которой упомянул о моих добрых свойствах и заключил тем, что мне за это дадут похвальный лист. Тут же был и этот лист, перевязанный розовой ленточкой. Мне велели подойти к столу и получить присужденную мне семейным советом награду, что я и исполнил, сильно конфузясь, тем более что замечал какие-то неодобрительные усмешки у старших, а также и у некоторых детей, коим, очевидно, была известна затеянная против меня злая шутка. Вместо похвального листа мне дали объявление

⁵ «Баснословие это, вложенное в уста бабки Акилины Васильевны («Из одного дорожного дневника». «Северная пчела», 1862 г. № 351), — сообщает А. Н. Лесков, — нашло себе применение в гл. 82 «Смеха и горя» и в неопубликованном еще рассказе «Пчелка» из цикла «Картины прошлого», 1883 г. (Центральный государственный литературный архив, Москва; в дальнейшем ЦГЛА)».

об оподельдоке⁶, что я заметил уже только тогда, когда развернул лист и уронил его при общем хохоте. Эта шутка возмутила мою детскую душу, и я не спал всю ночь, поминутно вскакивая и спрашивая, «за что, за что меня обидели?» С тех пор я ни за что не хотел оставаться у Страховых и просил бабушку написать отцу, чтобы меня взяли. Так и было сделано, и я стал жить в нашей бедной хибарке, считая себя необыкновенно счастливым, что вырвался из большого дома, где был обижен без всякой с моей стороны вины».

Если от тетки (ради спокойствия матери и бабушки, а также из большого желания учиться) Николай еще кое-как сносил унижения, то афросимовская выходка переполнила чашу: сразу после получения «оподельдовой грамоты» он так решительно «запросился вон», что родители немедля исполнили его просьбу, и он покинул «ненавистное, спесью напоенное» Горохово.

С годами обида утихла, но ее тлеющий уголь остался в сердце навсегда. Хоть Лесков и утверждал в зрелом возрасте, что «теперь она мне смешна» — непреходящая глухая боль грустной иронией откликнется не раз. Например, в повести «Смех и горе»: в руки золоченого купидона, любовно изготовленного матерью маленького Ореста Ватажкова, либерал-масон самодур дядюшка — натуральный продукт «дикой России» мрачных времен «бессудия и безмолвия» — сюрпризно подсунет пучок свеженьких розог...

⁶ Не раз наталкиваясь в литературных произведениях и документах того времени на это загадочное слово, задавалась вопросом: что ж за штука такая? Для тех, кто еще не знает: оподельдок (*Linimentum saponatocamphoratum*) — легкая, белая желатиновая или прозрачная, легко тающая масса; состав: раствор 40 долей медицинского мыла и 10 дол. камфары; его фильтруют, вливают 2 доли масла тимьяна, 3 дол. масла розмарина и 25 дол. аммониякальной жидкости. Жидкий оподельдок (*Spiritus saponato-camphoratus*) — из 60 долей камфорного спирта, 175 дол. мыльного спирта, 12 дол. аммониякальной жидкости, 1 дол. масла тимьяна и 2 дол. масла розмарина. Название этого средства, этимология которого не выяснена, встречается уже у Парацельса — *oppodeltoch*. В XVIII-XIX вв. оподельдочком в России лечили все подряд — от ревматизма и вывихов до себореи, упоминание этой «панацеи» часто встречается в произведениях Лескова.